

Мамара Шабаренина



ТАКАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

– Куда, малолетка,
далёко ль дорожка?
У храма столетья
пенёк в два окошка.
Молчун некрещёный,
окликнешь – растаешь...
Мой чёрный-пречёрный,
почто окликаешь?
Меж звёзд закопчённых
дымишь, не отпетый.
Мой чёрный-пречёрный,
родимый, пресветлый!

«И ВОТ ТОГДА ИЗ ЗВЁЗД, ИЗ ТЕМНОТЫ...»

«В одном чёрном-пречёрном дому...» – дурацкий ужастик. Живу в чёрном-пречёрном. Морёный тёс для пола, по преданью, стал потолком. Революционный переворот в строительстве сто лет отливает чёрным шоколадом. Из пазов мхи. В стены въелись дымы печки «по-чёрному». Золотой век памятником бездымоходному отоплению оставил баньку. Ничейная, оказалась востребованной: чьи дрова, тому и ласка! Чёрное чистилище глотает и наши полешки... Керосиновый свет. Крутое пике ковша, шип каменки, пар торпедой!

«А-а-а!» – страх выскользнуть из материнских рук.

«А-а-а!» – душ на голову! Тряпьё, одеяло – из рук в руки, «на божью волю!» «Несёт меня лиса!» Несёт брат Васька. Или несётся? Зимняя тропка в оступь. Враспах – добела отмытые звёзды! Звёзды на чёрном. «Что? И там банька?» Открытие мира поперхнулось.

...За «встречальным» столом брат в пилотке – на побывку. Под чаёк – утайка пятнадцатилетней давности: как по дороге из бани уронил в сугроб меня, совсем ещё кроху. «Я помню!» – сказала я. Все рассмеялись.



ХОЧУ ЧУЖОГО ГОРЯ

Нежные снега. Легли – лежат. Чего ждут? Цементно-металлургический Змей Горыныч дохнёт – скрючатся. Окно с отдышинкой: не идёт ли Алька? Не идёт. Тропа в два взгорка: занесло. На спуске Алькин костыль, бывает, вжик – и в забор! Бывает, «вжик» Алька, костыль – в сугроб! А кажется, в грудную клетку – задыхаюсь Алькиным снегом: «Ма!»

– Она сама должна! – понимает и сердится мама: – Не чахни!

– Буду чахнуть!

– И не гыльди в дырку на чужую горю! Свово хватит!

– Не хватит! Хочу чужого горя!

– Настырна. Ну что она-те? Козомода козомодой.

У Альки Третьяковой руки-крюки, ноги-крюки. «Сереброальный паралич»... Но что взрослые понимают в красоте? С Алькой тепло. С дырвявых шарфов-шалек накрутила младенцев: «Нянчи». Нянчу: только б есть не просили: печка ещё не поёт, не пылает...

Алькин брат печь разрисовал. «Три богатыря» – во всю простынку: от окошка до дверей. По отцову глазомеру – «не дом, курятник!» Хочу в курятник, к трём богатырям! ...У нас тоже были простынки: сменяли на хлеб. А петухи на полотенцах мама знает, где кукарекают.

...Руки-крюки превращают мой нечёсанный хаос в косички, протирают лицо оконным инеем.

– А хочешь никогда не стареть? Тогда я тебя ещё два раза умою.

– Умойвай! – иду на жертвы ради вечной молодости. Горят щёки! «Я ль на свете всех милее?»

Сказки Пушкина «от зубов»: сёстры учились по одной хрестоматии, и я с ними. «Образованный человек, – хвалит зять Дима, – но мордуленцию мыть надо, хотя бы раз в год». Мордуленция умыта.

– Ма! Дочка-т у тебя кра-асивая! Как Алька!

– Ага, – поддакивает чугунок на ухвате, – жутко красивая!

Чугунку не до меня, устраивается на углях в загнетке.

– Приходи, – приглашает Алька, – тебя Юра нарисует.

– Ага, – взводит рожком сковородник, – в тритьяковску гарирею! Ни валенок, ни ча – вот как пойдёшь?

– Ножками! – довожу до рожка.

– Ага, – ныряет тот в печку. – Нет уж, бум ждать лета, как соловьи.

Не хочу ждать, как соловьи. Снегопады – один за другим. Расчищена тропка. Нет Альки. В «чёрном-пречёрном» людские приливы-отливы. Одиноко. От мига до мига – даль. В дальнем углу кто? Темь.

– Ма, почему Алька не идёт?

«АльканеидётАльканеидёт...» – глас из-под дивана замкнуло, как грампластинку.

– Замолч! – взвяк за столом: у мамы лопнули нервы. – У мя тута чилавек!

...У мамы всё «чилавеки, чилавеки». Хотят знать: куда пойдут, чего найдут, кому отдадут сердце. Отработанная колода карт служит мне: «Ну-ка, что там?»

– Ма, у меня на сердце печаль: шестёрка червей! Алька где?

– Где-где? На бороде! Скрутило твою Козомоду! ...А те, дева, бубновый туз!

Туз не мне. А может, и мне: я состою из всех судеб поселкового «чилавчества». Хочу состоять из Альки. Она – как её «младенцы» из мягких вещей. Обнимаю «подкидышей» – баю, бай! Только в космической мгле или под диваном могут рождаться светлые мысли: «Отцовы валенки – по брови, а вот сапоги гармошкой»... Разве карты слышат за печкой возню, скрип дверей? Дамы-короли самозабвенно ищут счастья.

Мороз – за горло! Потрогал пальцы на ногах: ку-уда? – В гору, к Альке! Сапоги – роздуд для самовара – пых-пых. У меня ножки крепкие, как у египетского божка! Ход – ёлочкой: пых-пых – радость для дохлых сапог! Жизнь после жизни!

Оглянулась. Дом под сугробом – берложка. Торчком беретный хлястик дымка. Дитё сбежало – ухом не ведёт. Не веди – здесь дорога!

По Диме, люд в посёлке малахольный. Край аномальный. Дороги – чёрт-те что: кружат дня по три. Но одёжку – навыворот, и ты дома! Лукоморье!

Тёщин разгад Лукоморья иной! Знает, с какой русалкой на ветвях и почему Леший принёс зять-Диму в штанах наизнанку...

...Сапоги пробуют дорогу: будто их заледеневшие подошвы что-то чувствуют. Миг – и, видоизменившись в проломе времени, замерли в городской прихожке. В мастерской Нади Тихоновой вглядываюсь в холст: девочка в моём платье – за воздушным шариком, как на пожар! Душе всегда на пожар, погоня за чудом!

– Надь! – кричу подруге через тысячу лет. – Так это же я!

– Ты! – доносится из кухонных измерений: в них опять выкипает чайник.

«Не чайник! Это выкипает до доньшка жизнь!» – хочу сказать – не говорю...

Сапоги вспомнили про «Третьяковскую гарирею». И если – пых, пых – допыхтели до цели, то уже без меня. Меня из них вынули. Я полено. С плеча Карабас-Барабаса, Пап-Карло, родного отца – без разницы: сейчас кинут в топку! В снах – убегаю. Из реальности – куда? ...Ноги взялись пламенем: их свободу-независимость отец оттирает снегом, всполошившихся домочадцев – плечом: «Сам!»

...Два временных пояса оспаривают права на моего отца. Война побеждает. А если б не побеждала, вот бы он каким был! Обняла крепко, насколько могут детские руки, когда не хотят отпускать.

В добрые минуты отец вспоминал про побег: «Иду, глядь – фуфайка моя чеполит! По морозцу!» ...Отца больше не обнимала. С Алькой подружилась сестра Нина – близки по возрасту. У неё случились стихи про поэтов: пишут о чём не надо. А надо про Альку:

«Вы, может не поверите, она уже четвёртый год больна...

Концы с концами еле-еле сводятся,

И Алька знает, что обречена.

Где взять на жизнь? Ведь мать её уборщица.

Отца взяла проклятая война».

Наив, но слово сестры горбилось над чужим горем. Со временем оно заимело свойство возвращать мою память к Альке.

...Умывка оконным инеем отодвинула моё увяданье на «долго-долго». Что такого могла знать Алька? Аномальный мой край щедр на таинства.

ЧТО ВИДАТЬ ИЗ-ПОД ДИВАНА

«Час обеда приближался, топот по двору...» Стук-бряк ложки о чашку: за столом завод, лесоповал, алмазная драга, золотой прииск. Под диваном полное затмение: штaketник в сапогах двойным заслоном. Самые большие – отцовы. На ходу особо опасны. У кирзы глаз нет: шовырнут – лети! Хоть куда, хоть, ножки к макушке, в бадью! Вскипит, выскочит с перепуга ключевая вода «равная объёму Томкиного тела» – блеснёт сестра Нина Архимедом или дразнилкой: «Дело было в январле, летнею порлюю – Томка плавала в ведрле левою ногою!..» Картавила.

В час пик лучше не пикать. Не плаваю, из поддивановки не высовываюсь. С котом Кешей – с полувзгляда. Учёные: поджимаем хвосты, не копим обид. Кеша сыт всегда. Я нет. Моё личное пространство подаёт сигналы: «И-ись!» Вселенная чёрного дома глуха.

– Томка, как тебе там, под диваном? – интересуется зять Дима.

– Хорошо.

– А я бы сдох.

– А я терпимая...

– Я бы правда сдох: волю люблю!

Я тоже. Как скажут: «Васька, Нинка, кто, – отведите её на волю!» Ведут. Воля у дома – во всю поляну! Поляна ползёт вверх. Через дорогу, сквозь ожерелье в десять улиц. По меридиану проулка гонят коров: там воля вольнее.

Дима добрый. Вот только по пьяни его златодобывающее кайло куролесит. Носилось за кувалдой Толи Косоого. От заморинских ворот до наших. У родных ворот в критический момент отступления кайло тормозило Димиными ногами. Кувалду заносило вместе с носителем к зрителям на косогоре. На миру и смерть красна: нейтральная полоса успокаивала и кувалду, и кайло. Гимнастёрки, залитые потом, мирила «беленькая» с биркой на шее «21 руб. 20 коп.». Подписание пакта о ненападении крепилось за нашим столом. Мир! Вся тара мира катилась ко мне под диван. Окурки под абажуром мата дымят и мерцают как звёзды. Освещают недетские сюжеты.

...Солдату легче добыть свет всеобщий, чем личное счастье. Федя Портнов с повреждённым органом любви – любил. Жена родила. Знал от кого. Деток – довоенную троицу и четвёртого, чужого – любил! Охотничье ружьё на женские тайны куток не взводило: территорию любви хозяина берегло. Не повреждённый войной соперник этого не учёл... Две пули – две смерти.

Гвардии старший сержант – грудь в орденах, не сдававшийся в смертных боях, шёл сдавать ружьё и сдаваться. За ним, человеком любви, – три мальчугана: через весь большак – топ-топ-топали. Хоть на Колыму! Поотставшей сестре, тоненькой Тоне, предстояло стать мамой своих братьев.

Портновы ходят по нашей улице всё тем же строем: троица братьев, Тоня поодаль.

– Как же они теперь? – вздыхает на моём «выпасе» зять Дима.

– Как, как: Васька женится на Тоне. Возьму всех в родню.

– Ты, Том, отколь-чего? – тарашится Дима. – Васька школяр!

«Жизнь прожила, знаю». Думаю – не говорю. Потому что Димы давно нет: вмёрзший в товарняк, затерянным грузом колесил по родной стране в поисках воли, а может, себя?

Я опять ничего не знаю. Всегда в настоящем времени, Дима срывает жёлтый подснежник: «Троица, троица – вся земля цветами кроется!»

ВЫШЕ ЛЮБВИ

Вход под диван под аркой столешницы. Ватник ковриком: кулачок под ушко – спи! Комфорт, но тянет к окну: взгор на взгорке, а задрать голову – нёбушко! Плывёт – плыву я, выше заводских дымов! Плыву! С «палубы» снимают: «Стекло выдавишь». Плач.

– Сирена! – ужасается зять Дима. – Улица Маркса сбилась с «Интернационала». А что подумает улица Сталина? А как огорчится мой друг Бендер! Чего орёте, мадам?

– Хочу и ору! – пререкаться из-под дивана безопасно: не щёлкнут!

– Ты, Томка, когда вырастешь, кем будешь? Как моя жена Маша – поварёшкой, или как тёща – ведьмой? – отвлекает меня от душевного протеста Дима: – Кем?

– Пушкиным! – высыхают слёзы.

– А что не Лермонтовым? Лермонтов красивше. Но как будущему Сандр Сергеичу, вот тебе стило!

Огрызок оранжевого карандаша стал талисманом: засыпал в руке, выпадал, скатывался с полатей в печной кожух, где кирпич и зола, где тепло держится дольше... К утру и я туда...

– Настоящая золушка! – восхищался мною зять Дима. – Не умывайся! Вдруг принцы, а ты как дура – чистая!

Принцы не приходили. Карандаш отыскивался. Карандаш пропал – отыскивался всегда. Но однажды пропал совсем. Выполнил сверхпредназначение своё?

Спустя полвека потеря, как с радуги, пробежится по обложке моей книги. Король своего дела, учёный, краевед сопроводит: «Золушка вошла в королевские палаты, и ей в пору пришлись все эти поэтические аксессуары принцессы».

...О другом, но будто знает о «чёрном-пречёрном», о каретах из тыквы, о хрустальных чужих... Многое подвластно Николай Михальчу. Закопанные в архивах имена, кои откопке не подлежали, отыскал, вынес к «Старому Уральску»: «Реанимируйте!» И рядом с книгами научных изысканий его встали «найдёньши», те, что во славу отчизны. ...«Фольклорное» око доцента по-профессорски – год за годом, собирало Словарь. Пока прихорашивало, «деликатные» люди полсловаря увели. «Что скажешь?»

Мы, как со встречных поездов без расписаний, сталкивались. Долгая стоянка: сказать – услышать. В одной такой светился: архивы увенчали! Открытие с крупинку, а радость! «Крупинка – в науке это много, – объяснял, – может смести чей-то пудовый труд!» ...Узрел: казачья песня «Не былинка-берёзонька к земле клонится» – колыбель «Капитанской дочки».

Пристрастие к Пушкину – с детства. «Пригубил – и поселились строки как тайна, как молитва в душе! Это что-то такое, что выше любви», – сказал. Вспом-

нилось, как хотела стать Пушкиным... Некое родство. Каждого окликал свой невидимый поезд: расходились. И всё же молва: если на меня без меня где-то падал дождь, Николай Михайлович деликатно раскрывал зонт...

Без Щербанова в Уральске темней не стало: оставил свой свет. Без Щербанова стало печальней. И однажды телефон, не особо лояльный, выдал: «Михалыч верил в твоё перо...» Насчёт возможностей пера Николай Михайлович мог и ошибиться. Не знаю. Важно, что «из звёзд, из темноты» – весть! Коснулось то, что выше любви...

СМЕХ ТУЗИКА

Мороз. Бельмы окон. В глухом простенке «обелиск» – дверь прошедшего времени. Раньше вела в детскую – светлую-пресветлую половину дома, просила много дров. В войну выпряглась из дровен мама: слегла. Поднялась пила – не замерзает же. Пилильщицам Маше, Шуре – работа. К весне от «детской» – ни щепы. Только дверь. Чёрный-пречёрный – в жутком тепле. Безрадостно. «Пустите погреться!» – на двери возник светлячок. Махонький, с детскую ладошку. Прижился. И – война, послевойна – веселит уплотнённое детство. Не словить Кешиной лапке. «Аха-ха!» за дверями – кто? «А никто. Место такое!» – объяснялось необъяснимое. И то заслонка, то иконка – дзинь, бряк. Крышка погребка поднималась бесшумно. На ней бы панночке из хутора близ Диканьки, но та повисит – и на место... Детвора – одна в доме – ускоряла приземление печным барахлом. Дитя в корзине – туда же – для груза. «Майна-вира» не помню, но погребок обхожу. Дверь в стене – другое дело – экран будущего: что хочешь, то и видишь. Вижу сосны: мимо них пронесли как-то праздничные родители. Стоят, возвышают меня до себя.

– Ш-шш, – шиплю на их языке, шевелю хвоей.

– Томка! – комариный писк не для моих высот, но дёрг-дёрг...

– Ча, оглохла? Как дерева какая! – сердится мама.

– Те, Томк, всю жизнь – как подлодке: погруз-всплытие, – беспокоится зять Дима. – Кессонку схватишь.

– Бессонку?

– Кессонку! А с чем её едят – спроси у мамыши!

– Ма, с чем едят кессонку?

Мамы уже нет – ушла в глубины волхованья: король трэф, Толя Косой, где он, пыразит? Временно недоступный для печных локаторов, обнаружен на любовной дорожке.

– У чехни! – бушует тётя Шура.

Мат – ходуном воздух! Мне ль с моей поддивановки не знать, как зарождают грозы? Давно ль с тётё-Шуриного крыльца со свистом – сапог, самовар, сама тётё-Шура, в кровь! Риткин визг, фонтан меж сандалий, как из-под земли!

– Ма-а! – несутся по улице мои страхи в мамин подол. – Война!

– Кака те война? – забывает мама свою же страшилку. – С ума, что ль? Мало мне одного шумашевого? Ще ты да Шура прискачет...

– Прискакала, шумашеча? – спрашиваю с полатай в сумерках.

- Лица на те нет! Сплошна кысынка. Прылипла! – пугается мама
- Грунь, Томку дай. Мой при ёй стихат... – выдувает уголок косынки.

Меня снимают с полатей водрузить на другие, с Риткой. Досаживать с ума. Майка на мне «бух-бух». Вдруг услышит Война? Услышала. Вышла в рубахе Толи Косого на двух жердинах.

- Приконопатилась, коза? С чего бы?
- Тётъ-Шуру спасать...
- Это меня надо от тётъ-Шуры спасать! А её от кого?
- От Косого.
- А вежливей?
- От трэфового короля косого Толи Заморина!

Обморочный перебеж таракана по потолку – минутой молчания. Выбитый под Курском глаз пытается отвориться в страшной котловине своей. И – «ухха-ха-ха!» – как телега с горы, и «уххо-хо-хо!» – тётъ-Шурино болящее. Ритка со сна ни бум-бум – в залив! Заливает своим хроническим перепугом. Все чувства тонущей княжны с репродукции – во мне. Но смех – зараза: смеюсь!

Так смеются привидения за нашей чокнутой дверью... Взвыл на дворе заморинский Тузик. Воет и воет. А может, у него смех такой?..

НА НОЧКУ ЗА ЛЮБИМОГО

«Что крестьяне, то и обезьяне». Куклы – пока ни имени, ни отчества, ждут предсказаний. Очередь как у мамы. Предскажу. Карты – вразброс, лесенкой:

Куда пойдёшь,

Чего найдёшь,

Что купишь,

Что продашь,

Кому сердце отдашь...

Краля с угольной бровью не знает, кому отдать сердце: Любимому иль Хорошему?

- Иди за Хорошего, – говорят моим голосом карты.
- Хоть на ночку, да за Любимого! – сходятся чёрные бровки.
- Ну-ну, как бы плакать не пришлось!.. А вот и слёзки! Потому, что прошёл год, и ещё год. Потому, что Любимый на сына не смотрит. На тебя не глядит... Гуляет? Вот и плачь!

В уголке – полкружки слёз. Но сколько можно? Смягчаюсь:

- Плохо с Любимым? Иди к Хорошему... Уехал? На тебе оранжевый карандаш! Пиши. Приедет!

...В шкафу, на верхней полке, письмо из Соликамска от крали с угольной бровью: «Графена Осиповна, если б не вы...»

– Если б не я, – приписываю себе мамины лавры, – не было б у тебя ещё одного сыночка!

Переполненное слезами «счастье» течёт из-под дивана.

– Томка, ты куда с такой мокрой тряпкой?

...Откуда кому знать: это не тряпка – это «на ночку, да за Любимого».

ДЕСЯТОЧНИЦА

Исчез пуленепробиваемый занавес вдовьих подолов. Надежды поумирали. Но раз в месяц поддивановка тонет в шелках! Чулочно-носочные личики моих кукол бросаются глядеть сквозь цветные воланы... Десяточница не приходит – является, как царица!

Мне, если подтянуться за край столешницы, можно увидеть картёжный расклад, повисеть в хорошем обществе. Но это «не пялься» испортит любую жизнь. Нет, уж лучше вы к нам! Тусую колоду: десяточнице интересен лишь военный король: ушёл на войну – и нет. Может, не дошёл? Виновый туз – казённый дом... Кладу даму на короля – «это он, десяточница: лицо к лицу к твоему, сердце к сердцу! Ждёт, спрашивает: ветер, ветер, ты могуч, не видал ли?..» Слушают шёпот шелка – не верят.

– Да будет, будет вам встреча! Вот только злая карта поперёк. Конвой!

«Конвой» не из маминого словаря, Диминого: схлопотал за Победу – подкинул пилотку в Австрии – поймал в Венгрии... Стран там, как кур на седалах! Хмельной от счастья «эмке» взбрендилось взглянуть на венгерскую жизнь. Глянула. «Эмке» – ничего, экипаж – в «медвежий угол». По Диме, до «медвежьего угла» – рукой подать....

– Рукой подать! – определяют местонахождение «военного короля» мамыны карты. – Жди, – говорят.

– Ждёт-пождёт с утра до ночи... – продолжают мои... –

Смотрит в поле, инда очи

Разболелись глядючи:

Не видать милого друга...

Шаманим с Пушкиным на пару.

– Ненашеполеягода! – шаманит о десяточнице народ.

– Немка с Поволжья.

– Выселенка.

– Муж пырпадат – она в кырбдышинах!

– Не с простых, – подводят итог посиделки, – не с простых.

Не знаю, с каких, только все подножные дали с её уходом скучнеют. Запечному ведёрку – фу: духи-туманы вредят его психологическому здоровью. Шелка сердят баб: в магазинах и ситца нетути.

– Под каждой фуфайкой – женчина в соболях! – заключает мама. И в десяточницын день дом накрывает шести-, нет шестидесятьюклинкой! Синей, в клеточку, по фигуре!

...«Украли. А утром – война!»

– Все войны из-за юбок! – развеивает мои сомнения зять Дима. – Но чтобы Ялтинскую конференцию клинило тётчиной шестиклинкай? ...Про юбку, Томка, никому! А то, туши свет – опять Мировая!.. Нам это надо? Подумай!

Думаю!.. Но какие могут быть размышления у ножниц, когда перед ними цветной шелкопад? Очарованные лезвия примеривались недолго...

– Ма, сшей мне юбку как у десяточницы!

Круглеют никогда не круглые глаза: гаснет лоскут, гаснет радость. Гром небесный – дверь! Отец с работы... Поддивановка. Тревога: что-то не так...

За лоскут из новой скатерти шестилетняя рукодельница осталась без рук: отстали кольца ножниц: пальчики полыхнули гангреной. Районная газетка – статьёй: «Мама, отдай мои ручки!» Ампутированным заголовком новость тыкалась по посёлку: читали?.. Очерствевшие за тяжкие годы сердца испугались себя. Испугали поддивановки: виновны – не виновны, чуть что – руки за спину: а вдруг?

График явлений роскошных воланов не дрогнул. Лишь шелка подбирают себя, даже когда поддивановка пустеет. Я выросла. Первый раз – в первый!.. Явилась десятичница. Не одна: с замком Иф. Замок с обложки Диминой книги в человечьем облике был бы таким... Реабилитировали! Десять лет на лесоповале в ста километрах – рукой подать. Кто знал? Знали только карты. Холодное лето 53-го накинуло на мамины плечи барскую шаль. Может быть, со складов Монте-Кристо? Шаль преобразила обыкновенную маму в женщину, достойную соболей. «За заслуги перед Отечеством» – осветился угрюмый замок.

– Это не карты, это ваша любовь! – ответный свет...

Кисти до пола, длинная-длинная шаль: длиннее маминой жизни.

УЖ ЛУЧШЕ БЫ УБИЛИ

Вина отца и не вина,
что он в живых остался,
Что был он страшен, как война
когда он надвигался.
Что был изранен на изруб,
что чуб из белой пыли.
Роняла мама камни с губ:
– Уж лучше бы убили!

Месяц под знаком Победы – мой месяц. По свидетельству отца: нашёл меня на войне, вёз в котомке. Поэтому – Томка. По версии мамы: отца фашисты подменили на своего. Тот не пил, не курил. Этот – родных не признаёт. А ту, которую вытренькивал: «двадцать пятого числа – жёнка дочку принесла?» – категорически... Двадцать пятого ноября и разрешилась... «Пророк», за неделю до того, на фронт и – хоть бы слово какое. Только карты и говорили: жив! Два раза за войну маму увозила скорая лошадь: голодный обморок. Дети – как заговорённые: привидевшаяся богородица с караваями спасала...

Отец с войны привёз войну: занимал круговую оборону: поднимал погибший взвод, материл какого-то Петьку, чтоб оторванную башку свою из окопа – ни-ни! Шёл в атаку с кочергой, с топором. «Враг» – врассыпную: пережидал в морозных сенцах. Меня, новорождённую, согревали дыханием. А как неслись за квартал к тётъ-Шуре, и сама помню. На войне как на войне: перед дислокацией – разведка. Теть-Шурин дембель Толя Косой тоже повоёвывал. И когда сверкал невыбитым глазом, его семейство летело к нам с обратным визитом. Ритку, мою сверстницу, укладывали на голые доски: во сне писалась... Во сне душа – осиновый лист: дрожит и прячется. Я знаю.

...Время передёрнуло затвор: телерепортаж из Донецка заглянул в больничку для «тронувшихся» деток. Один мальчик всё улыбался, открывал-прикрывал глаза

ладонью. Каким взрывом, куда отнесло его душеньку? Может, во младенчество, где живы мама-папа: счастливые, играют с ним в прятки навеки... Ау! Одно время окликает другое.

Тётъ-Шура не могла излечить дочь. А ведь была ведьмой. Угляделось с полатай: «цихлопа» одноглазого выцарапывала из печной трубы тайным словом. Провалившийся к какой-то «чехне», тот возвращался. Но ненадолго.

На войну с нашей Набережной ушли двадцать три, вернулись – трое. Третьего Толью Хромового, ребянтя величала ТольВанычем. По пути с работы раздавал безотцовщине гостинцы: по орешку, по конфетке. Гладил по вихрам: жмурились как котятка. Провожали до калитки. Смотрели в щели полисада. По сведенью мальчишек, рана у ТольВаныча – сквозная. Белые бинты на верёвке колыхались. Колыхали наши сердечки.

Сестра, напрочь отвергнутая отцом, допытывалась у матери:

– Ты молодая была?

– Была.

– Папку любила?

– Любила.

– Он был хороший?

– Хороший.

– А лучше не было?

Она бы, на месте мамы, женилась на ТольВаныче...

– Война, всё война... – вздыхала мама. Рассказывала, какие песни пел отец до войны, каким стахановцем был – с доски почёта не снимали. Может, ещё вернётся, душа-то? С тех пор как не отступила пред отцовым глюком, шагнула под топор: «Лучше б убили, лучше бы тебя там, Мишенька, убили!» – отец утих вулканом. Те секунды остались зарубкой на память: как в замедленной съёмке, тесак плашмя опустил на отцову ладонь. Шишковатый палец провёл по лезвию: «Топор-от плотницкий...»

Уважал он рабочий инструмент.

Но всё одно: не отпустила война человека: все ему были чужими в доме, и он оставался чужим. Меня, случалось, сажал на плечо. Затылок в рубцах вселял ужас. Высота – превосходство: возвысил тот, кого все боятся. Кого я боюсь... Может, любил? Подросла – не разрешал брать коромысло: «Пусть вон те, кобылы, идут!» Теперь и в его отсутствие на предложение сестёр сходить за водой я могла ответить: «Вы кобылы, вы и идите!»

– Всё война... – уж как-то подозрительно часто и отстранённо повторяла мама.

– Всё война...

Никто не знал, что носит в себе болезнь, которая сильнее войны.

В доме, от нашего наискосок, бои шли не на жизнь: выплёскивались на крыльцо. Большая снежная баба с красивым лицом, в кружевном белье, охаживала валенком мужа Ореста: «Немец, немец!» Тот, капитулируя, поднимал руки... Повесился. «Эмка» с квадратной головой из фанеры тосковала: в её кузове Орест катал детвору, как Мазай зайцев. Сгружал у Вшивой горы. Мне хотелось к Медной, к её волшебной хозяйке... Уральские сказы, ещё не отёсанные Бажовым, ходили по посёлку пешком... Чудные края... После напишется:

«Века высокосные сосны смыкают.
 Черны: не поднять патриаршие веки.
 Опасные просеки пересекают
 С Чердынского тракта бежавшие зеки.

Бессрочные сыски, урочные лета
 За теми болотами воздух колышат.
 С проточными списками тех, кого нету,
 Подземные гrotы для роздыха вышли».

Вид из окна: демидовский завод, на речной окраине – алмазная драга, на лесной – золотые прииски. В огороде – клад: петухом видится. Как Али-Баба богат посёлок. За хлебом – очередь... Когда давали муку – кило на голову, всё сонное поголовье – мороз не мороз – снималось с печи. Засахаренный поручень крыльца однажды поймал меня за язык. Магази́нская техничка отливала водой мою любовь к прекрасному... На миру не плачут. Взвыл гудок. Трижды: значит, мороз – за сорок: в школу не идти. А я и не училась ещё...

Матушка-печка – родовое, неотделимое: и ясли, и детсад. Каждый кирпичик знал репертуар пионерского хора.

Нехорошим частушкам меня научили зятя Вилена и Дима. Зятя – итог роковой встречи двух лесоповалов: гражданского и ЗК. На западноказахстанской целине Вилена найдёт боевой орден. Кто ж знал?

...Боевые хлопоты зятьев: обещанный сюрприз обернулся ведёрным чугуном на костре. Аромат свёл с ума всю улицу: пельмени! Не праздник, а праздник! Патефон являл голос Утёсова. И всё бы хорошо, но вдова Ореста, Чеботаева, три дня искала упитанного пуделя.

И уж, верно, не из-за страшных подозрений напала на меня сыпная корь: сознание уносило по широкой трубе и – стоп! Ни хвори, ни кори.

– Чудо! – говорила мама. – Господь в маковку поцеловал! Я уж отпевать думала.

Но впереди была жизнь. И столько чудес, что Господь не всегда успевал целовать без войны виноватую...

Судьбу предсказала тётъ-Шура. Ладонь – контурная карта. Впадины из-под лба, как из-под яра, вперились, считывали жизнь.

– Здесь жить не будешь. Уедешь в город, не большой – не маленький. Муж – полувоенной дисциплины. Детей двое: не скажу кто вперёд.

Огорчила:

– Богатой не будешь.

Успокоила:

– На жизнь хватит. Люди к тебе будут относиться с уважением.

К чёрточкам у запястья наклонилась:

– Не прорезались ещё... кажется, второй муж будет.

– Хоть бы был, хоть бы был!

Ну как не порадоваться второму? Тётъ-Шура взоржала:

– Забудь до поры!

...Забыла надолго про гаданье и про этот день моего тринадцатилетия.

Лет через двадцать «из не большого – не маленького» Уральска приехала с дочкой и сыном в родные края к брату. Муж «полувоенной дисциплины», при фуражке с кокардой, бороздил фарватер Урала.

...Тёть-Шурин вдовец, узанный мною у калитки кладбища, рассказал об отце: «Жил отшельником. “Сожителка” навещала лишь в святой день пенсии. Зашёл раз на победный праздник к нему. Усы и борода его сплелись. Выстриг ход для рюмашки. И хоть тараканом закуси, ни крошки... Король Лир: детей шестёрка – нейдут, не едут. Бывало, висит на изгороди как ватник: ждал, мот, кого... Кого – не сказал. Я ему – про внуков, он мне – про окопы, про Петьку какого-то...» Заросшая могила подсказала: брат не простил отцу «счастливого» детства.

В девяностые не стреляли, но народ пережил их как войну.

«Воробушков сито,

И вы голодны?

Лишь вороны сыты

В несытые дни...»

Безработный период привёл меня, поздною, в журналистику: осваивала новую профессию как целину.

В работе над очерками о вернувшихся с войны помогал невернувшийся: тот, кто был для меня страхом, стыдом, никем. После – разрывной болью, брошенным младенцем. Теперь скажу: мой отец вынес из огня державу, душу не смог. Но эта невидимая субстанция вселенной должна быть: её ищет самое трудное, самое пресветлое на земле слово: «прости».

СЕРДЦЕ В КАПУСТУ

«...По улице шагает весёлое звено.

Никто его не знает, куда идёт оно».

Звено из шестого знает куда: меня, тупую из третьего «Б», ставить на вид отцу. «Отец за дочь не отвечает!» Кричи – не кричи, шеф-наставники в политике ни бум-бум. При попытке к бегству – портфелем по башке... «Повесть о Зое и Шуре» обязывает встать с колен. Встаю.

«Тупая, тупая!» – ликует пионерская рать. Так вели партизан к эшафоту. «Это счастье – умереть за свой народ». К счастью не готова. Патриотическую повесть сменяет малость познакомившийся со мной Гомер: «Чрево пополнив своё человеческим мясом...» И где он будет, этот пончик – звеньевой? С любого волнения мой контуженый отец готов превратиться в Полифема. Я убегу! Плен уже не мечется, весел: галера найдётся!

Посёлок – с горы на гору. Вшивая счёсывает со своей макушки меня и меня сопровождающих лиц. Гора Пихтовая дышит пихтой. У подножия – домной: ночные плавки сносят марсианским светом дома. Не снесут: дома на сваях. И сама гора, если смотреть на неё вон с той скалы, замок Иф. Проходным мостком к улице – бровка. Ход гуськом: слева гудящий тракт, справа скат. Зимой с него съезжают самые отчаянные портфели. Мой дёрнул на первую наледь. «Безумству храбрых поём мы славу!» Дикий коток необъезженным мерином взвился, понёс! «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» Где-то на валуне «экипаж» раздвоился: портфель влетел в промзону первым. Героически умер на шпалах:

ни уголков, ни замочков. Содержимое – на сбоях крутого пике. Проскочил паровоз – пришвартовало меня. А может, не меня: существо, свергнувшееся с многометровой кручи, и без отцового ремня пылало, выплясывало перед верхотурой: «Трусы, трусы!» Голос осип: возле губ кувырчался... Все дороги, даже которые в Рим, – через Пихтовку! На нерве, на срыве – за вагонеткой солнце, вывело тупую третьего «Б» из железнодорожного тупика. У крыльца – хлопнулось: весёлое звено выскочило из-за поленницы!..

Не то утро, не то вечер. Медвежий – во всю избу – сумрак. Печка. Лежу голенькая, как Иисусик. Голова, пластмассовой штамповки, на живульку пришита к туловищу. По мне, верно, пронёсся шестой класс, а может, паровоз...

– Кулёмушка, – прикладывает мама к ушибам капустные листья: – Боль сымут...

– Всю? – спрашивает из меня кто-то.

– Всю. А штанцам каюк.

Трусики достойны глубокой скорби: голубые, с начёсом – в лоскуты... Из-за печки сумрак – шестой класс!

– Ой мамочки! – вскакиваю и опять – хоть в пропасть!

– Испуг, – плачет мама, брызжет святой водой через лучинку.

Хорошо-то как!

– Ма, теперь я святая?

– А то...

Тает сумрак, тает кочан.

– Ма, оставь листик.

– Зачем?

– Заверни в него моё сердце.

ТЕАТР ВОСКОВЫХ ФИГУР

Несённый из сеней кусок мяса вверх в ужас:

– Никогда больше не шлите меня в чулан! Никогда.

– Тогда ешь траву, – сказал дом.

Разницу между супом и похлёбкой человек, проживший на свете семь лет, знает: траву не хочет.

– Ну и как теперь жить?

– Когда с мясом, когда без... – Зять Дима видит во мне серьёзного собеседника: – Как бог даст!

Бог дал сестрину хрестоматию для пятого класса: нет букваря.

– «Ту-чка по не-бу и-дёт. Боч-ка по...» Ма, это какая буква?..

И дале. Трепещет огонёк восковой свечи, плывёт себе бочка по синю морю, стучит швейная машинка «Зингер».

«Не грусти, душа моя. Ведь царевна – это я!» Царевна – я! И кораблик в незашторенном окне – мой! И лебединое перо в Машинной шляпе – чудо! Почему бы Маше не подарить шляпу младшей сестре? ...Через три дня мне – в школу: хорошо бы в ней... Знаю, на кого похож коршун. «Тот уж когти распустил, клюв кровавый наострил...» Скрипят полати, не разбудить бы.

– Не клей в книжку-т!

...Мама полунесёт меня к подушке.

– Така дурочка, така дурочка. До ума б довести...

«До ума» представляется мне камнем в поле с высечкой «ум». Как в сказках: «направо – то, налево – сё». Человек, проживший на свете семь лет, мыслит здраво! И всё же – не посылайте меня в чулан за мясом! Как бы вижу: это эпитафия к тому, чего нет, но однажды наступит...

ГАМЛЕТ РАССКАЖЕТ...

Шекспир бледен: на подмостках – жизнь. Где режиссёр, литконсультант на матершину? Мат – кучей рогов, чаном копыт. В лампах матовый свет. Воздух – Аш-два-ё. Декорация с натуры! Движущийся фон – на цепях. Тушки обезглавлены, распилены, омыты: мёртвый мир ногами в небо как при рождении. Посвист: в сквозняках ищут выхода души божьих тварей. Найдут – унесут и эту, человечью... От девочки, похожей на меня, медсестра отступилась: последние конвульсии. Напрасный оклик: «Тая!» Железный конвейер – план, сверхплан – не остановится. Рабочая сила свечным опływом не наплывёт... Меж боен и холодильной галереей девочка, похожая на меня. Обескровлена, как барашек на крюке. Кровь уже не хлещет, трудными толчками рвётся... Частичка Вселенной с хромосомой памяти, отделившись от тела, уж, верно, дивится, не поймёт: что это с нею?

Любовный треугольник. Составные сломанной геометрии прильнули друг к другу: страшно падать. Высокий парень как с колокольни иного мира озирает зевак. Мечутся кудри Замиры ли, Земфиры. Все драмы мира и ещё одна пересеклись тут, здесь, сейчас. Кадык парня дёрг-дёрг – курком на взводе. «Обезоружьте!» Обезоружен. Хламиды-халаты горкой, ножи в ножнах: не полоснут. Держит паузу театр восковых фигур. Восковых ли? Добыть прекрасную убийцу из каменных десниц «командора» для прибывшей милиции будет стоить труда... Зашепчутся углы про ту, похожую на меня, про всю не святую троицу. Но что там было и как, расскажет лишь друг Гамлета, Горацио. Обещал...

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

Сбой в утиль-цехе – в кишечном – холм: растёт не по дням. «Духовный шарм» разрядил воздух! Смард. Дышим смрадом. Разборочный стол как стол Президиума Верховного Совета: высок. Обит жестью. Завален бараньей утробой. Учёные руки своё дело знают: вырвут то, обрежут это. Вожжи черевы распустит станок: человечество не может без колбас в натуральной оболочке!

Душно. Беременную Любу выводят во двор. Убойному цеху от такого пустяка не холодно – не жарко. Конвейер выпихивает на поток сизые комплекты, вынутые из... Шлёп-шлёп – падают с лотка на пол: приемщицу Любу кажет окно: не отдышится... Меж корпусами прохожее солнце. Проходит: безразмерный рабочий день мерить кишечной бахромой не ему. Серость, сырость, сырьё... Здесь должны вкалывать сосланные чертями из ада. От безвинной Любы и в преисподне – свет: ей скоро декрет и свобода!.. В декрет бы хоть... В цехе ни одной мужской особи. Все, и бык-производитель Боря – на бойнях. Боря самых красивых водит на чердак. К нам не заглядывает. Отшибает запах. Запах – как охранный грамота невинности кишечниц. И когда первая красавица цеха влетела с кулём столовских

беляшей и писком «Бык!», бригада, ожидавшая в общем-то перекус, оживилась: Боря, что ль?

Доску почёта накрыл барельеф бычьей морды. Стал нарастать. Помехой – цитадель: чан с солью и я – соляным столбом. Гоголевская сцена. Из ста квадратов цеха признак жизни – в одном: у красавицы пляшет куль с беляшами. Недобитый электрошоком, недотянутый на дыбу, с оборванной пролетарской цепью гость по-жениховски шаркнул рогом. Ханыжная сопка – не преграда! Но это как сказать рог развернуло на сто восемьдесят градусов. Свистящий вдох ополоумевшего совпал с выдохом мерзкой кучи. Похищение Европы быком не состоялось. В дверях стоял заслуженный боец-универсал первого разряда, он же – «бык-производитель Боря» с ножом и мулетом! Где-то такое уже виделось-слышалось. Ах, да:

«Я помню ту последнюю корриду,
В кровавой пене пегие бока.
Ты думала, что больше я не выйду
Со шпагой и мулетом на быка?»

Вышел. Высверкнул нож. «Арена» исчезла.

Согласно сарафанному радио, «тореадор» искал пятый угол по всему комбинату. По другим сведениям, удирал раненый бык. Разгуляться было где: из до-революционных маленьких боен вырос широкоплечий, четвёртый по ранжиру в Казахстане мясоконсервный комбинат. Ну сколько давали на-гора те частные боемки в месяц?

– Щас в день крадут больше! – изрёк бухгалтер в кулуарах.

Что цифры? Ни Боре, ни быку... Колбасный цех роковая пара обогнула три раза. Ни они, ни «строители коммунизма», отвечающие на заботу партии беззаветным трудом, не подозревали о тридцати пяти видах колбас, рождающихся здесь. О продукции уральцев куда больше знали кубинцы. Быка, не захотевшего катиться колбаской на Кубу, усмирили загонщики. На скотобазе – каждому своё! Посадили на цепь.

В общагу – по азимуту забора. Здесь каждая доска – сезам: может метнуть шмот мяса, несовместимый с жизнью. Отжимные вальки полусуточной смены притупили бдительность и мою, и моей спутницы, той самой, на которую положил глаз бык. А нам бы принца с транспортом: «Э-эй!» Мясуха откликнулась меринком и как бы бревном через забор. Удар овеял. И не остановись я поправить чулок... Спичка высветила здоровенную говяжью ногу с холкой: булава судьбы! Увернулись – и счастливы! Нас ждут казённые подушки и сон, сон, сон.

Утром со скотобазы позёмкой пронеслась весть о треногом быке: полуказнёного везли в клетке, как Стеньку Разина на казнь. «Наш!» Плыла догадка о палаче.

